

ПАТОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕКСТ В ЭПИСТОЛЯРИИ А. П. ЧЕХОВА

Эпистолярный А. П. Чехова рассматривается в статье как проза, созданная на грани документального и художественного жанра и дающая ключ к пониманию мира-текста писателя. Специфика чеховской прозы мыслится в наложении точек зрения писателя, врача и больного, авторская игра с которыми позволяет говорить о формировании в его эпистолярной патографического текста.

Ключевые слова: русская литература, А. П. Чехов, эпистолярная проза, патография.

Современный научный дискурс обнаруживает повышенный интерес к пограничным сферам культуры и ориентацию на периферийные научные знания. В литературоведении сегодня подобным явлением становится «literature and medicine» (LM), выделившееся среди междисциплинарных интеллектуальных течений, порожденных интеграцией «методик гуманитарных и естественных наук»¹. Современная наука все чаще начинает апеллировать к медико-литературному аспекту в культуре, литературе и физиологии, о чем свидетельствуют конференции, посвященные взаимосвязям русской словесности и медицины². Подобные конференции, прошедшие в Европе, определили внимание к «медико-литературным» проблемам и в России. Благодаря этому в отечественном литературоведении появляется обозначенная в европейских изданиях терминология этой маргинальной сферы: в польском сборнике «Morbus, medicamentum et sanus – Choroba, lek i zdrowie» возникает термин «морбуальный» (лат. morbus – болезнь) для номинации медицинского дискурса в русской литературе и культуре. Это позволяет осмыслить художественный нарратив и тело как нерас-

членное целое, тем самым интерпретировать литературный текст как «релевантную персонализацию топосов болезни и здоровья» [1, с. 11].

В этот же контекст вписывается исследование К. Богданова, где медико-литературный дискурс ученый определяет термином психоаналитики «патография», указывая на его более широкие смыслы [2]. Современный междисциплинарный пласт исследований патографических текстов либо указывает на различные патологии (отклонения от нормы) их авторов и обозначает в их произведениях отражения данных патологий, либо ограничивается прочтением жизни писателей через их тексты и болезнь. В первом случае «патография» синонимична понятию «history morbi» (история болезни), а исследования, выполненные в этом ключе, делают акцент на медицинскую или психологическую сферу³. Во втором случае патографический дискурс сводится к вольной биографии, написанной чаще всего медиками или психологами⁴. В работе К. Богданова вслед за социологом А. Франком больные называются «творцами особого типа нарратива»⁵, «травмированными рассказчиками» [2, с. 11].

¹ Уточнению термина «literature and medicine» посвящена статья Е. Неклюдовой, в которой данное явление названо автором работы особой дисциплиной, уже обозначенной в американском и европейском научном дискурсах, но еще непривычной для русского научного знания: Неклюдова Е. «Воскрешение Аполлона»: literature and medicine – генезис, история, методология // Русская литература и медицина: Тело, предписания, социальная практика: сб. ст. / под ред. К. Богданова, Ю. Мурашова, Р. Николози. М., 2006. С. 16–17. Традицию объединения литературы и медицины исследователь находит в Античности, где Аполлон осмысливается символом этого союза.

² Прошедшие в начале XXI в. на Западе конференции указывают на возрастающий интерес к взаимодействию гуманитарных и естественных наук. См. подробнее сборники, изданные по итогам конференций: Studia Literaria Polono-Slavica, № 6; Morbus, medicamentum et sanus – Choroba, lek i zdrowie. Warszawa, 2001 (в издании объединены статьи исследователей по теме «Болезнь, лечение, здоровье в литературе»); Русская литература и медицина: Тело, предписания, социальная практика: сб. ст. / под ред. К. Богданова, Ю. Мурашова, Р. Николози. М., 2006 (сборник, собравший работы, которые были представлены на конференции в немецком университете в г. Констанц, 2003 г.). Составители последнего настаивают именно на синтезе «медицинского» и «литературного», указывая на их взаимообусловленный характер в некоторых художественных текстах.

³ Работа В. П. Руднева, посвященная тому, «как особенности психопатологии отражены в тексте» (Руднев В. П. Характеры и расстройства личности. Патография и метапсихология. М., 2002). И. Б. Якушев подчеркивает медицинскую природу патографического описания, называя его жанром научного исследования в области психиатрии (Якушев И. Б. Патография: экзотика или методология? // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. 2010. N 4. URL: [http:// medpsy.ru](http://medpsy.ru)).

⁴ См., например: трилогия профессионального психиатра Л. А. Юферева (И дни мои чернее ночи... Князь П. А. Вяземский: человек и его болезнь: опыт патографии. Киров, 2008; Страдание нужно нам: личность и болезнь поэта Евгения Баратынского: Патографическое исследование. Киров, 2009; Печальный странник. Жизнь и болезненное страдание Константина Батюшкова: Патография. Киров, 2010) и книга М. Н. Золотоносова «Другой Чехов: По ту сторону принципа женофобии». М., 2007.

⁵ Особому прочтению произведений писателей, отмеченных недугом (как психическим, так и физическим), посвящен целый раздел в номере журнала «НЛО» (2004, № 69) «Болезнь писателя: творческая саморефлексия и клиническая картина», где в качестве предисловия –

В результате патографический текст (от греч. *pathos* – страдание, болезнь; от *grapho* – пишу) осмысливается как организованный ситуацией болезни/лечения текст, представляющий особый способ видения мира и позволяющий автору сделать болезнь темой повествования. Это дает возможность замещения реального недуга рассказом о нем, что интерпретируется как подсознательный поиск излечения. В данном контексте патографизм становится способом преодоления, изживания недуга (как в узком, индивидуальном его понимании – реальная ситуация болезни/лечения, так и в широком морально-этическом, социальном его значении – «болезни» общества, времени и т. д.).

На особую роль в жизни и творчестве А. П. Чехова медицины и литературы указывалось не раз с отсылкой к самому писателю, постоянно обыгрывавшему этот тандем в собственном эпистолярном письме. Однако исследования по данной проблематике посвящены либо выявлению роли врачебной практики для художественного творчества писателя¹, либо осмыслению произведений сквозь призму его недуга² и «одержимостей» [3–5].

«Риторизация» чеховской медицинской деятельности и одновременно «медикализация» его художественного творчества стали популярным предметом совместных медико-филологических конференций, где филологов интересует влияние врача на Чехова-писателя, а медиков – отражение писательского таланта во врачевании³.

Однако специфика чеховского мира-текста выявляется не в представлении отдельных его ролей, а в рассмотрении их единства, совмещении статусов врач–писатель–больной. В культуре обнаруживается дублирование и «взаимоналожение» функций писателя и врача: медицина дает ключ к тайнам тела, «поэзия – к тайнам человеческой души» [2, с. 80]; в то же время роли больного и писателя выявляют тот же процесс: писательство – «занятие

нездоровое, разрушающее ум и тело» [6, с. 90]. Уникальность чеховской биографической ситуации – в наложении этих двух концепций: писатель как врач и писатель как больной. Это дает, с одной стороны, специфическую точку зрения в тексте, а с другой – игру между социально-полярными ролями.

Наиболее ярко это наложение обнаруживается в эпистолярной прозе писателя, которую сегодня исследователи называют его художественной лабораторией и изучают с не меньшим интересом, чем произведения [7–9]. Чеховские письма, существующие на грани документального и художественного жанра и объединяющие в одном тексте реальность и творчество, становятся своеобразным ключом не только к прочтению рассказов писателя, но и к осмыслению его мира-текста. Поэтому именно в эпистолярном письме обозначается патографический текст, позволяющий уточнить чеховский художественный мир, который определяется взаимообусловленностью основных для мировоззрения писателя этических тенденций – индивидуалистической и материалистической [10].

Чеховская корреспонденция, подобно его художественной прозе, обнаруживает игровое начало, что определяет ее поэтику: игра с литературными традициями, читательским ожиданием, языковая игра и т. д. [11; 12]. Однако если в художественной прозе последнего периода игра уходит в подтекст, то в эпистолярном письме игра – доминанта чеховского стиля. Поэтому игра в литературу и с литературными традициями в письмах Чехова расширяется и углубляется благодаря совмещению в тексте полярных точек зрения врача–писателя–больного. Ситуация болезни/лечения, которая неоднократно обыгрывается в письмах, реализует смену масок, примеряемых на себя автором: писатель, создающий вторую реальность, – нудный больной – практикующий дипломированный врач – обыватель и др.

статья Александра Строева, заявляющая на материале французской культуры эпохи Просвещения о скрытой связи социальных ролей писатель–больной–лекарь: Строев А. Писатель: мнимый больной или лекарь поневоле // НЛО. 2004. № 69 (5). С. 89–98.

¹ См., например: Овсянко-Куликовский Д. Н. Вопросы психологии творчества: Пушкин. Гейне. Гете. Чехов. К психологии мысли и творчества. М., 2009; Хижняков В. В. А. П. Чехов как врач. М., 1947; Гейзер И. М. Чехов и медицина. М., 1954; Роскин А. А. П. Чехов: статьи и очерки. М., 1959; Романенко В. Чехов и наука. Харьков, 1962; Шубин Б. М. Доктор А. П. Чехов. М., 1982; Меве Е. Медицина в творчестве и жизни А. П. Чехова. Киев, 1989; Ашурков Е. Слово о докторе Чехове. М., 1960; Мирский М. Б. Доктор Чехов. М., 2003 и др.

² Исследование Л. Карасева представляет свое видение чеховского творчества в духе онтологической поэтики, полагающей текст проявлением тела его творца. По мнению ученого, логика и конфигурация повествования оформляются по авторскому подобию, в связи с этим специфику прозы Чехова исследователь видит в ее «легочном» характере: в поэтике текстов писателя номинируются элементы, связанные с темой дыхания и на уровне мотивов, и на уровне композиционных принципов. Этим исследователь объясняет отсутствие у писателя произведений большой, романной формы: Карасев Л. Вещество литературы. М., 2001.

³ В период с 1995 по 1998 г. в Московском музее Чехова прошло 4 подобных конференции: «Чехов и медицина», «“Черный монах” глазами врачей и филологов», «“Палата № 6” глазами врачей и филологов», «“Степь” глазами врачей и психологов». Результат медико-филологической встречи, проходившей в эти же годы, – сборник «Целебное творчество А. П. Чехова: размышляют медики и филологи» (М., 1996), ключевая идея которого – в версии о психастеническом характере писателя (Бурно М. Е. О психастеническом мироощущении Чехова // Целебное творчество А. П. Чехова: размышляют медики и филологи. М., 1996. С. 14–15).

Так, в письме Н. А. Лейкину от 4 марта 1886 г. автор выступает в качестве драматурга, моделирующего жизнь: «...пришлось писать с антрактами... А писанье с антрактами – то же самое, что пульс с перебойми»¹ (т. 11, с. 75). В другом письме Н. А. Лейкину обнаруживается та же ситуация: «...Третьего дня, после трехнедельного антракта, я послал Вам рассказ. Думаю, что антракт мой кончился, так как от бед, которые обрушились на мою голову, остались только одни следы...» (т. 11, с. 94). Здесь реализуется шекспировская формула «жизнь – театр», где автор подобно артисту примеривает роли писателя и доктора. Антракты – граница между внутренними перевоплощениями. Две роли – писательство, номинированное литературными и драматическими понятиями, и врачебная деятельность, обозначенная медицинскими терминами, – соотносятся в пределах одного текста.

Игра одновременно в доктора и писателя далее усложняется с помощью ироничных авторских гримас, которые отсылают в подтексте к роли уставшего больного: «...Понемножку болею и мало-помалу обращаюсь в стрекозиные мощи. Если я умру раньше Вас, то шкаф благоволите выдать моим прямым наследникам, которые на его полки положат свои зубы. ...Прощайте и верьте лицемеру А. Чехову...» (т. 11, с. 98). «Стрекозиные мощи» – «энтмологическая метафора», смысл которой «в сближении полярных аспектов бытия» [13, с. 204]. С одной стороны, здесь реализуется образ поэтического парения и изящества, актуализирующий литературную традицию. В культуре данная семантика стрекозы как метафоры поэтического изящества отсылает к оппозиции душа/тело, восходящей к идее о Золотом веке, в основе которой – утопия о гармоничной жизни без физического труда. С другой стороны, негативные, хтонические характеристики, закрепленные за стрекозой в культуре (ездовое животное черта – «конь черта», ср. литов. букв. «муха дракона» и т. п. [там же, с. 203]), закрепляют за этим насекомым семантику вестника смерти и в данном контексте отсылают к идее временности бытия. Данное значение в гораздо более явной степени использовал позднее О. Мандельштам в стихотворении «Дайте Тютчеву стрекозу...» и закрепил в русской литературе за образом стрекозы эм-

блематическое значение спутника смерти, который восходит, по замечанию исследователей, к немецкому фольклору².

Стрекоза в чеховском тексте, во-первых, – ироничный знак легкого творческого бытия, «поэтического парения», не связанного с земными заботами, о чем свидетельствует положение прямых наследников, «сложивших зубы на полку». Этот образ продолжает традиционную для литературы оппозицию беззаботного, легкого/обремененного трудами бытия, восходящую в культуре к противопоставлению эдемского и земного существования. Во-вторых, «стрекозиные мощи» отсылают к идее брэнности жизни и реализуют образ больного на смертном одре. В результате здесь проявляется игра со смыслами, основанная на совмещении разных традиций осмысления стрекозы. Благодаря этому происходит «внутреннее укрупнение содержания» [15, с. 76] за счет «скрытого диалога» с литературной традицией и апелляции к читательскому опыту³. Диалогичность чеховского текста отсылает к «скрытой» беседе писателя с читателем, где первый моделирует определенную ситуацию и выступает в роли наставника. Это метафорически реализует отношения доктора и пациента, которые из поля практической деятельности переводятся в пространство диалога: «врач воспринимается не только как практик, но и как ритор» [2, с. 16]. В результате маска писателя как наставника становится маской лекаря, а роль читателя соотносится с ролью пациента.

Однако у Чехова патетичность каждого амплуа (наставника, писателя, лекаря, больного) снижается за счет ироничного их совмещения в пределах одного текста и одной ситуации. Так, энтмологическая метафора поэта и больного у смертного одра профанируется в смешении высокого стиля со сниженной разговорной лексикой, результат которого – «каламбурность» ситуации. Патетическая ситуация «у гроба» в пределах одной фразы сменяется шуткой: «Прощайте и верьте лицемеру Чехову». Финал письма разрушает патетику благодаря шутливой подписи. Обнаруживается традиционный для чеховской поэтики эффект обманутого ожидания (казалось – оказалось). Здесь проявляется авторская игра в литературу и с литературой, где он выступает как актер перед зрителями (читателя-

¹ Ссылки на произведения Чехова даются в тексте статьи в круглых скобках по изданию [14].

² Степанов Ю. С. Интертекст – среда обитания культурных концептов (к основаниям сравнительной концептологии). URL: <http://abuss.narod.ru/Biblio/stepanov1.htm>

³ О «напряженной диалогичности» чеховской прозы см.: Кубасов А. В. Слово-жанр-стиль А. П. Чехова: итоги и открытия // Русская литература XX в.: закономерности исторического развития. Кн.1. Новые художественные стратегии. Екатеринбург, 2005. С. 71–87. Традиция прочтения чеховского текста с помощью уточнения пре-текстов и авторской игры с ними берет начало с исследований В. Б. Катаева, который заявляет об особом способе мифологизации и своеобразном типе «литературности» у писателя: Катаев В. Б. Чехов и мифология нового времени // Филологические науки. 1976. № 5. С. 71–77. См. также: Ахметшин Р. Б. Проблема мифа в прозе А. П. Чехова: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1997.

ми), гримасничая и меняя свои маски: актер театра, свободный от быта, и парящий творец-писатель, умирающий больной.

Границы между социальными ролями писателя-доктора-пациента размываются, когда автор примеряет амплу демиурга-режиссера, моделирующего жизнь окружающих и угадывающего их реакцию на предложенную шутку: «...А Вы говорите, что я не превосходный драматург. Я придумал для Савиной, Давыдова, министров водевиль... Во время грозы ночью я заставлю земского врача Давыдова заехать к девице Савиной. У Давыдова зубы болят, а у Савиной несносный характер...» (т. 11, с. 299). Эффект создается за счет совмещения текстовой и внетекстовой реальности (жизнь и болезнь как объект описания и обыгрывания). Здесь создается водевильная ситуация, отличительная черта которой в «комическом изображении различного рода “увлечений” и “чужацеств”, воплощавших те или иные человеческие слабости» [16]. Чужацеством в данном контексте воспринимается шутка автора, играющего на страхах знакомых, слабости которых становятся патологией. Время предполагаемого события – «ночь», «во время грозы» – придает ситуации водевильный характер и в подтексте отсылает к страхам участников событий и литературным традициям. В результате и «больные зубы» врача Давыдова, и «несносный характер» Савиной ставятся в один ряд, они интерпретируются как слабости, поэтому также получают статус «чужацеств». Водевиль как жизнь (или вместо жизни) реализует желание снять серьезные жизненные вопросы и проблемы, дурачить судьбу и болезнь. Кроме того, «больные зубы» врача как «чужацество» указывают и на амбивалентность фигуры врача, который в русской культуре является не только субъектом, но и объектом врачевания: «Врач! Исцели самого себя!» – библейская формула, обуславливающая риторичность процесса врачевания [1]. Таким образом, в данном контексте автор, играющий на страхах знакомых, выступает в роли врача, который слабости окружающих делает объектом рассказа-шутки, а значит, исцеляет недуги за счет их риторизации.

В подобном контексте прочитывается и игра с собственной болезнью и в болезнь. Обыгрывание

своих патологий определяет вариативность понятия «болезнь» в чеховской корреспонденции: болезнь как слабость, чужацество и недуг как живое существо¹. Созерцание своего собственного тела и таящейся там болезни со стороны – это попытка объективизации изображаемого, прием отстранения себя от недуга.

Игра с собственным недугом, проявляющаяся в языковой игре, прочитывается как попытка собственного исцеления, указывающая на мифологическую ситуацию изживания болезни путем ее номинации². В пределах одной фразы совмещается и персонификация недуга в живое существо, и игра со словом, его называющим. В письме А. С. Суворину от 11 марта 1989 г., пытаясь шутливо определить диагноз и причины недуга, Чехов заявляет: «...Болезнь эта называется так: мерцающая скотОма. Не скотина, а скотОма...» (т. 12, с. 300). Номинация болезни «скотома» отсылает, с одной стороны, к ругательству, с другой – к медицинскому термину, обозначающему опухолевые образования. Поэтому шутливое определение собственного недомогания – способ уйти от него, а также знак размывания границы между жизнью и текстом: недуг как обстоятельство реальной действительности превращается в предмет анекдота, часть водевильной ситуации. А шуточное название болезни также реализует в тексте маску доктора-шарлатана, традиционную для ранней художественной прозы писателя³.

Лейтмотив чеховского эпистолярного сопоставления медицинской практики и писательства, а персонифицированные образы медицины и литературы, между которыми находится сам автор, определяют чеховский текст: «Медицина – моя законная жена, а литература – любовница...» (т. 12, с. 124); «...Я врач и посему, чтобы не осрамиться, должен мотивировать в рассказах медицинские случаи...» (т. 12, с. 123). В этой оппозиции Чехов шутливо реализует ситуацию любовного треугольника. Это подчеркивает во врачевании недугов их обязательный и от этого не всегда желанный характер.

Игра в неверного мужа усиливается в письме Ал. Чехову, где номинировано данное противоположение: «...Кроме жены – медицины, у меня есть еще литература – любовница, но о ней не упоми-

¹ О первобытных взглядах на болезнь как на живое существо подробнее см.: Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1999; Тайлор Э. Б. Миф и обряд в первобытной культуре. Смоленск, 2000; Киселева Н. Мера и вера (знание жизни и смерти у древних славян и книжников Киевской Руси) // Вопросы философии. 1995. № 8. С. 103–104.

² Первобытное, конкретное мышление человека осмысляет болезнь не как «объективную данность», но как явление, на которое может воздействовать человек, в том числе словом. Это выражается в различных ее номинациях в зависимости от конкретного проявления недуга: Колесов В. В. Древняя Русь: наследие в слове. Мир человека. СПб., 2002; Потебня А. А. Слово и миф. М., 1989.

³ О традиционном наборе признаков доктора-шарлатана и его архетипическом поведении в ранней чеховской прозе см.: Кубасов А. В. Проза А. П. Чехова: Искусство стилизации. Екатеринбург, 1998; Стенина В. Ф. «Врачи» и «болезни» А. П. Чехова: мифологический подтекст // Филологический анализ текста: сб. научн. тр. Вып. V. Барнаул, 2004. С. 44–50.

наю, ибо незаконно живущие беззаконно и погибнут...» (т. 11, с. 113). Маска неверного мужа повторяется также и в ситуации сложного выбора между законом, долгом и собственным желанием, чувством. Данная роль совмещается с ролью чтущего законы гражданина: «незаконно живущие беззаконно и погибнут», что указывает на псевдотрагический характер этих отношений. Любовный треугольник формально снимается финальной подписью: «Антоний и медицина Чеховы» (т. 11, с. 113). С одной стороны, в стилизованной подписи – иллюзия сделанного выбора в пользу «законных отношений». Оппозиция жена/любовница (медицина/литература) иллюзорно разрешается наречением собственным именем законной жены, которая вместе с именем получает статус alter ego автора. С другой стороны, стилизация имени («Антоний») напрямую отсылает к истории любви Марка Антония с «женщиной-фараоном» Клеопатрой. Традиционно за римским императором в культуре закреплено определение двоеженца, стоявшего между выбором: интересы империи/индивидуальные чувства (долг/чувства); а Клеопатра наделяется статусом *femme fatale*.

Шутливая финальная подпись в чеховском тексте, апеллируя к мифологической истории отношений, также указывает на неразрешимость двойного статуса врача-писателя, где роковой искусительницей выступает литература, соотносимая в подтексте с Клеопатрой. Это сопоставление подчеркивает особую власть любовницы-литературы над Антонием и закрепляет за литературной практикой статус увлечения и наваждения. Поэтому персонификация врачебной практики в образе законной жены, а писательства – в фигуре любовницы прочитывается как авторская игра, позволяющая формально разрешить в тексте нерешенную в реальности проблему выбора.

Обстоятельства любовного треугольника скрыто проявляются также и в письмах «мелиховского» периода, где обнаруживается персонификация холеры, вызвавшей в 1892 г. эпидемию. В послании Л. С. Мизиновой, рассказывая о своих обязанностях участкового лекаря, Чехов пишет: «Уехать я никуда не могу, так как уже назначен холерным врачом от уездного земства (без жалованья) ...Разъезжаю по деревням и фабрикам и проповедую там холеру» (т. 5, с. 94). В этом – мифологизация обстоятельств холерного бытия: болезнь «закрывает» пространство, ограничивает в возможностях и делает доктора своим заложником. В этом контексте «холера» и врач осмысляются как одно целое, символический союз. Логично замечание, которое актуализирует мифологические представления людей о болезнях и докторам: «Мужики привыкли к медицине настолько, что едва ли понадо-

бится убеждать их, что в холере мы, врачи, повинны. Бить, вероятно, нас не будут» (т. 5, с. 95), или в продолжение той же темы: «Приезжайте к нам, будете бить меня вместе с мужиками» (т. 5, с. 94). Традиционны в народе суждения о лекарях как шаманах, поскольку умение исцелять недуги воспринимается как умение управлять болезнями, поэтому фигура врача амбивалентна: целитель и одновременно виновник эпидемии. Таким образом, и чтение в народе лекций о профилактике эпидемии получает в тексте черты проповеди, а статус холерного врача, работающего на добровольной основе, приобретает миссионерские коннотации.

Символическая зависимость доктора от эпидемии усиливается в письме благодаря его адресату. Послание адресовано Лике Мизиновой, с которой Чехова связывали нежные отношения. Поэтому плен писателя-врача, занятого «холерными» делами и не сдержавшего обещания о встрече, отсылает к обстоятельствам пушкинской Болдинской осени, когда эпидемия «закрывает» влюбленному поэту въезд в Москву, а Болдино получало характеристики острова-тюрьмы.

Угадываемые в чеховском тексте литературные параллели отсылают к любовной коллизии: поэт/болезнь/возлюбленная. Здесь «холера» персонифицируется в образе разлучницы, поэтому в данной игре ассоциаций логично иллюзорное разрешение проблемы и ироничное оправдание собственного поведения: «...я одинок, ибо все холерное чуждо душе моей» (т. 5, с. 169). Одиночество – закономерный результат выбора медицинских интересов. Логичен поэтому вывод о «холерном» существовании, актуализирующий поэтическую традицию: «Старость, или лень жить, не знаю что, но жить не особенно хочется. Умирать не хочется, но и жить как будто надоело. Словом, душа вкушает холодный сон» (т. 5, с. 99). Маска уставшего от жизни старца продолжается пушкинской цитатой, которая указывает на авторскую игру в томление и старческую усталость писателя от медицинских забот. В этом – наложение «литературной» истории на реальные обстоятельства, а обыгрывание невеселых условий «холерного» лета – попытка преодолеть сложившиеся условия: лечение эпидемии вместо запланированного летнего отдыха.

Игра на грани литературной и реальной истории в чеховском эпистолярном позволяет говорить о сознательном моделировании текста, где «рассказывание» мифологизирует историю благодаря сопоставлению ее с уже существующими в культуре и литературе мифами. Участники эпизодов и адресаты посланий вовлекаются в авторскую игру и наделяются «ролями». Так, в письмах 1898 г. изображается происшествие, случившееся в Ницце: «Дантист сломал мне зуб, потом вырвал его в три прие-

ма и, вероятно, заразил меня... мою физиономию перекосило, я полез на стены от боли» (т. 7, с. 173). Этот случай продолжает сюжет раннего чеховского рассказа «Хирургия» (1884), где представлена комичная история удаления здорового зуба дьячку Вонмигласову. «Зубные» приключения самого писателя, продублированные в письмах разным адресатам, становятся у Чехова предметом особого эпистолярного рассказа-анекдота. Это соотносит реальную историю с литературным эпизодом мучения дьячка, а автора и дантиста – с персонажами раннего художественного произведения. На сопоставление эпизодов реальной жизни и художественного текста автор сам указывает брату при описании ощущений после неудачных действий врача: «Здоровье мое тоже в таком положении, что вы, наследники, можете только радоваться... Боль была неистовая, и благодаря лихорадке пришлось пережить состояние, которое я так художественно изобразил в "Тифе" и которое испытывала интеллигенция глядя на твоего "Платона Андреича"» (т. 7, с. 174). Отсылка к художественным произведениям – сознательная установка на обыгрывание обстоятельств за счет совмещения разных историй: сюжет о наследстве – «литературный» сюжет – «театральный» сюжет. Грань между реальностью и выдумкой стирается: болезненные ощущения подаются как вымышленные, а фантазия о наследстве и впечатлениях «интеллигенции» – как существующая в действительности.

Таким образом, в эпистолярной прозе Чехова, в отличие от его произведений, доминантной чертой

остается игровое начало, которое в поздних рассказах уходит в подтекст. Игра с литературными образами, сюжетами, социальными ролями и предполагаемой реакцией адресата инициирует создание особого нарратива, актуализирующего проблему «биография как творчество, творчество как биография». Данная проблема – вариация вопроса об автобиографическом мифе, автомифологии и жизнетворчестве. Эти понятия сегодня используются и в отношении чеховского текста¹. В. Звенияцковский, заявляя, что у Чехова невозможно существование автобиографического мифа, тем не менее, приходит к выводу: «Чехов постарался все известные ему или предполагаемые им мифы о самом себе вовремя переплавлять в художественное творчество – "миф Чехова"» [17]. Это положение, несмотря на заявку об отсутствии автомифа у писателя, подтверждает мысль о существовании особого чеховского нарратива, отражающего в единстве литературу и жизнь, биографию и творчество. Патография Чехова дает ключ к пониманию этого нарратива, объединяющего реальность и жизнь, литературные сюжеты и действительность, писательство и врачевание. Патографическое исследование мира-текста у Чехова не исчерпывается случаями совмещения ролей врача–больного–писателя в его письмах и художественном творчестве. Патография Чехова может также включать «пространственные тексты» (В. Н. Топоров), осмысленные в эпистолярной и художественной прозе писателя через ситуацию болезнь/лечение (петербургский, крымский, южный, сибирский и др. тексты).

Список литературы

1. Русская литература и медицина: Тело, предписания, социальная практика: сб. ст. / под ред. К. Богданова, Ю. Мурашова, Р. Николози. М., 2006. 304 с. (Новые материалы и исследования по истории и культуре. Вып.1).
2. Богданов К. А. Врачи, пациенты, читатели: патографические тексты русской культуры XVIII–XIX веков. М., 2005. 504 с.
3. Рейфилд Д. П. Мифология туберкулеза, или Болезни, о которых не принято говорить правду // Чеховиана. Чехов и «серебряный век». М., 1996. С. 44–50.
4. Козубовская Г. П. О «чахоточной деве» в русской литературе (Пушкин – Ахматова) // Studia Literaria Polono-Slavica, № 6; Morbus, medicamentum et sanus – Choroba, lek i zdrowie. Warszawa, 2001. С. 71–93.
5. Сендерович С. Чехов – с глазу на глаз. История одной одержимости А. П. Чехова: опыт феноменологии творчества. СПб., 1994.
6. Строев А. Писатель: мнимый больной или лекарь поневоле? // Новое литературное обозрение. 2004. № 69 (5). С. 89–98.
7. Чудаков А. П. Единство видения: письма Чехова и его проза // Динамическая поэтика. От замысла к воплощению: сб. ст. / отв. ред. З. С. Паперный, Э. А. Полоцкая. М., 1977. С. 220–244.
8. Малахова А. М. Поэтика эпистолярного жанра // В творческой лаборатории Чехова: сборник статей. М., 1974. С. 310–329.
9. Сухих И. Н. Проблемы поэтики А. П. Чехова. Л., 1987. 184 с.
10. Разумова Н. Е. К вопросу о мировоззрении Чехова // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2001. Вып. 1. С. 29–34.
11. Кройчик Л. Е. Поэтика комического в произведениях А. П. Чехова. Воронеж, 1986. 281 с.
12. Степанов А. Д. Проблемы коммуникации у Чехова. М., 2005. 400 с.

¹ Специальный номер журнала «Нева» (2009, № 12), посвященный 150-летию писателя, включает работы по этой проблематике. Например, И. Сухих «Чехов в жизни: сюжеты для небольшого романа»; В. Звенияцковский «Миф Чехова и миф о Чехове» и др. Электронная версия журнала размещена на сайте: Журнальный зал. URL: <http://magazines.russ.ru/neva/2009/12/index-pr.html>

13. Топоров В. Н., Соколов М. Н. Насекомые // Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2 т. Т. II. М., 2000. С. 203–204.
14. Чехов А. П. Полн. собр. соч.: в 30 т. М., 1974–1983.
15. Кубасов А. В. Слово-жанр-стиль А. П. Чехова: итоги и открытия // Русская литература XX в.: закономерности исторического развития. Кн. 1. Новые художественные стратегии / отв. ред. Н. Л. Лейдерман. Екатеринбург, 2005. С. 71–87.
16. Лотман Л. М. Драматургия тридцатых – сороковых годов [XIX века] // История русской литературы: в 10 т. Т. VII.: Литература 1840 г. М.; Л., 1955. 619 с.
17. Звоняцковский В. Миф Чехова и миф о Чехове // Нева. 2009. № 12. URL: <http://magazines.russ.ru/neva/2009/12/zv8.html>

Стенина В. Ф., кандидат филологических наук, доцент.

Алтайская государственная педагогическая академия.

Ул. Молодежная, 55, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656031.

E-mail: steninavf@rambler.ru

Материал поступил в редакцию 24.01.2012.

V. F. Stenina

PATHOGRAPHIC TEXT IN EPISTOLARY BY A. P. CHEKHOV

Chekhov's epistolary is considered in the given article as prose that comprises documentary and artistic genres and allows understanding the writer's text in its broad sense. The specifics of Chekhovian prose is viewed as the combination of standpoints of the writer, physician and sick person. The author's game with them forms the pathographic text of the writer in his epistolary.

Key words: *Russian literature, A. P. Chekhov, epistolary prose, pathographo.*

Altai State Pedagogical Academy.

Ul. Molodezhnaya, 55, Barnaul, Altai territory, Russia, 656031.

E-mail: steninavf@rambler.ru